

# ИГРЫ СУВЕРЕНИТЕТА: НОВЫЙ ВОЗРАСТ РОССИИ

*Вадим Цымбурский*

**З**а последние двадцать лет в политическом слое российского общества уже второй раз обостряется интерес к идее суверенитета. В первый раз это было в пору так называемого парада суверенитетов с конца 1980-х по середину 1990-х, от которого и остались в памяти афоризмы «Берите власти, сколько сможете проглотить!» и «Главный суверенитет – это человек!». Второй раз это происходит сейчас, во второй половине 2000-х, когда из наших правительственных кругов прозвучала формула «суверенной демократии», взбудоражив политиков, политологов и правоведов.

Выход в свет сборника «Текстов» Владислава Суркова (Первого заместителя Руководителя Администрации Президента) с активной пропагандой этой формулы – хороший повод оглянуться на двадцатилетие наших «игр суверенитета». По трем мотивам. Чтобы, во-первых, убедиться, насколько наглядно в этих играх выразился общий смысл суверенитета как идеи политической. Во-вторых, чтобы восстановить реальную связь первого и второго циклов игр, не дать затопить нас и дезориентировать такому обычному в России политическому беспамятыству («От ничтожной причины – к причине, А глядишь – запутался в пустыне, И своих же следов не найти»). В-третьих, осознать причины для обострения темы суверенитета на той стадии российской истории, когда нам довелось жить.

## **Немного теории: суверенитет глазами юристов и политиков**

Оригинально перетолковав под конец XVI века слово *souveraineté*, старое средневековое название для власти короля или иного феодального правителя\*, французский юрист Жан Боден возбудил в столетиях споры, вращающиеся вокруг двух существенно различающихся осмыслений этого понятия. Одно идет от определений Бодена как таковых, другое – от той европейской, цивилизационной и геополитической ситуации, которую он пытался выразить в этих определениях.

Во французской версии своего труда «О государстве» Боден разъяснил *souveraineté* как «власть государства, абсолютную и постоянную», в варианте же латинском объявил о существовании в государстве «высшей и свободной от законов власти над гражданами и подданными» [Bodin, 1962: A 75]. Юридические изыски на тему суверенитета в Европе Нового времени за

\* В старофранцузском *souverain* (вариант *soverain*) в смысле независимого владельца свидетельствуется с середины XII века, абстрактное понятие *souveraineté* – с XIII-го [Le Grand Robert, 2001: 643–644].

частую выглядят интеллектуальным топтанием вокруг тех или иных слов из боденовских дефиниций. «Высшая власть»? А если правят несколько лиц – у кого она конкретно? «Постоянная»? А если диктатор с исключительными полномочиями назначается, как в Древнем Риме, на время, кто суверен – он или поставившие его? Как это – «власть, свободная от закона»? А естественный закон (хотя не очень-то понятно, что это такое)? А Божий закон (который не яснее естественного)? А обязательства по международным договорам? А как быть в государствах с конституцией или ее аналогом вроде английской Великой хартии вольностей?

Такие и подобные им вопросы бродили и бродят в юридических по своему складу умах, пленяющихся идеальным суверенитетом – «состоянием независимости данной государственной власти от всякой другой власти как внутри, так и вне этого государства» **[Вышинский, 1949: 406]**, – а заодно и дедуцируемой из этого идеала совершенно ирреальной картиной мировой политики как взаимодействия чтящих друг друга и равных в своей абсолютности суверенов.

Политики-практики, охотно используя в своих видах те или иные наработки юристов, в понимании суверенитета исходили с того же XVI века из реального зрелища новоевропейской политической карты, которая в ту пору начинает члениться и перекраиваться без оглядки на средневековое воображаемое единство духовной империи христианского мира. Для носителей власти суверенитет имел геополитический смысл – он им виделся «суверенитетом над чем-то и кем-то», политической собственностью на некое пространство и привязанных к нему людей.

В своих дискуссиях юристы открыли диалектику факта власти и ее признания миром, не охваченным этой властью, – диалектику, которая образует фундаментальную смысловую схему (фрейм) суверенитета. Одни из них выступали рыцарями «суверенитета признания», рассматривая суверенитет как функцию от международного права и уверяя своих читателей, будто «государство является и становится международным лицом только и исключительно благодаря признанию» **[Оппенгейм, 1948: 135–136]**. Им возражали поборники правового «суверенитета факта», по учению которых уважать следует суверенитет любого государства, признанного или нет, коль скоро оно эффективно осуществляет власть над своей территорией: «непризнание не может служить основанием для нарушения территориального верховенства государства» **[Дмитриев и др., 1996: 56]**.

Политики прекрасно сознают задействие как «фактического властвования», так и «внешнего признания» в реализации конкретных суверенитетов – но так же определенно они видят различие между толкованиями «признания» в своей и в юридической епархиях. История преподносит их взгляду динамику расширения и сжатия суверенитетов – до случаев прямой ликвидации некоего суверенитета по сговору других суверенов. Причем силы этого сговора для судьбы обрекаемого суверенитета не отменяло то обстоятельство, что кому-либо этот акт мог видеться прямым поруганием права. Монархи Пруссии, России и Австрии в XVIII веке, отрывая от Польши кусок за куском, в конце концов договорились об акте, уничтожающем ее как государство и запрещающем упоминать ее название в официальных документах этих стран. Не менее показателен осенний Мюнхен 1938 года, где три великие европейские державы – среди них две крупнейшие демократии – сговаривались об отнятии у четвертого государства суверенитета над львиной долей его территории. Очевидцы «косовского Мюнхена» наших дней – раздела Сербии по решению мирового цивилизованного, – мы должны (помимо нашего морального отношения к подобным случаям) не только осознать возможность откровенно экстраправового

вого значения договоров и сговоров, признаний и непризнания в деле возникновения и аннигиляции суверенитетов – но и увидеть, что «суверенитет» в подобных казусах не должен растолковываться через «полновластие и независимость». Да, у Чехословакии в Мюнхене отняли ее суверенитет над Судетами – но какого же сорта «полновластием и независимостью» должна была она обладать, чтобы те улетучились от вердикта?

С другой стороны, бессмысленно требовать, чтобы уважали суверенитет непризнанного государства, если тем, кому этот императив предъявляют, оно может не представляться государством вообще. С какой стати Россия в 1999–2000 годах стала бы уважать ичкерийский, а сегодняшняя Грузия – абхазский суверенитет? Критерий «контроля над территорией» – плохой критерий для того, чтобы отличить государство-новодел от временно попавшей под власть мятежников части некой государственной территории. Реально действующая власть может дорасти до суверенитета, а может с этой задачей и не справиться – и никакие юридические «вменения» здесь не имеют и никогда не будут иметь решающей силы.

Имея дело с идеей, теоретик-правовед вправе бороться за образцовость ее умственной огранки, хотя бы ее практическая приложимость пошла прахом. Он может чистосердечно признаваться в своей неспособности провести в политической данности границу между наличием суверенитета и его потерей – и, однако же, содрогаться, когда с ним заговаривают «о возможности расширения и сужения государственного суверенитета, о полном или неполном его характере... о признании частично суверенных или полусуверенных государств»: он ответит нам, что «такую точку зрения нельзя признать правильной в методологическом отношении». Политику же, для которого методологическая выдержанность не стоит и ломаного гроша, суверенитет не может жизненно предстать иначе, нежели в качестве постоянно переделяемой политической собственности. Само боденовское (или квазибоденовское) определение в его глазах может обретать ценность как инструмент подобного передела – или обороны против него.

Первые европейские провозвестники суверенитета вроде Бодена или Гуго Гроция могли быть пленены «политической теологией» (по выражению Карла Шмитта) возникавших у них на глазах абсолютистских национальных монархий. Но уже распространение после Вестфальского мира понятия суверенов на массу германских владетелей с их «неотъемлемыми правами» разного ранга создавало ситуацию, не слишком-то отличающуюся от средневековой. С одной, уже сделанной выше оговоркой – была устранена идея общеевропейской империи, а политические держания внутри нее, где они устояли, стали собственностью суверенов.

Пятнадцать лет назад, задумавшись над возможностью формализовать чисто политический смысл суверенитета,

*я предложил следующий фрейм: «X осуществляет власть над А (абсолютно все равно, на чем она основана – на признании подвластных или на чистом принуждении), и Y, осуществляющий власть над В, признает власть над А правом X».*

Тогда же я показал, что союз «и» в этом фрейме надо расценивать как каузальную стрелку, которая может быть направлена от любой части фрейма к другой его части – все равно, от факта к признанию или наоборот. Таким образом, я различил «суверенитет факта» (когда ре-

альное властвование закладывает основу внешнего признания) от «суверенитета признания» (когда власть создается признанием со стороны инстанций, на которые не распространяется, – создается как власть формально самостоятельная по отношению к этим инстанциям, имеющая свои «неотъемлемые права»). Соответственно вводятся негативные варианты тех же формул. Это – если невозможность реально осуществлять власть кладет конец внешнему признанию или, наоборот, «отзыв» признания, как в Мюнхене 1938 года, уничтожает, казалось бы, «неотъемлемые» властные права и с ними власть как таковую [**Цымбурский, 1992; Цымбурский, 1993**].

Кто-нибудь спросит: да чем же этот политический суверенитет – кентавр из «факта» и «признания» – так уж отличается от суверенитета юридического, тем более что и политики, и юристы говорят о праве? А вот чем. Юрист трактует право как подлежащую соблюдению норму. В царстве политики такое право тоже существует – либо как устоявшийся идеал, в конкретных случаях соотносимый с реальностью более или (чаще) менее, либо как соответствующая инерция, способная иногда облегчить, иногда усложнить политику жизнь. Но последний знает и иное право – любые интересы и вожеления, заявляемые в качестве справедливых, причем справедливых не обязательно юридически, а также морально, религиозно, с точки зрения «округления границ» или «обретения жизненного пространства» – как угодно в зависимости от веяний времени. Это право проводится в жизнь через мобилизацию и конъюнктуру. Если же мобилизация и конъюнктура не срабатывают, на долю поборников политического права остается ироническая формулировка «что-то, а право вы имеете». В этом плане «право разделенного народа на воссоединение» не слишком отличается от «права» государства захватить кусок чужой территории, чтобы округлить свою собственную.

В играх политического суверенитета – где политическая собственность создается, подвергается переделам, защищается и уничтожается – то или иное право на суверенность берет верх не потому, что «так должно быть», а лишь постольку, поскольку мобилизация и конъюнктура дают результат, подходящий под фрейм суверенитета в том или другом из описанных воплощений: с конвертацией или «факта» в «признание», или «признания» в «факт». На языке политики как таковом, если не подменять его языком юриспруденции, бессмысленно утверждать, что суверенитет *должен* возникать из реальной власти или из принятия субъекта в круг суверенов – политик знает, что на практике бывало, и бывает, и будет как первое, так и второе, по обстоятельствам места и времени.

Отсюда должен проистекать вывод о возможности разных рангов суверенитета – в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осуществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны, что называется, его референтного внешнего сообщества. А уже отталкиваясь от этого положения, я развил в начале 1990-х концепцию «геополитических структур согласия» или «структур признания», в рамках которых определяются специфики и масштабы суверенитетов [**Цымбурский, 1992**]. Частью этих разработок стало различение среди подобных структур таких, что основываются на суверенитете факта (когда реальный носитель власти рано или поздно оказывается признанным), от тех, в которых доминирует суверенитет признания. В последних власть меньших или новоиспеченных суверенов опирается на соблюдение ими некоторых практик, каковые утверждаются авторитетом суверенов-лидеров данной структуры признания. В качестве примеров структур второго типа мы легко

распознаем Европу Священного союза, а для наших дней – тот порядок, который уже семнадцать лет выстраивает мировой Центр, внедряя его в том числе и на лимитрофных посткоммунистических территориях, окаймляющих с запада и юго-запада платформу России.

Надо отметить, что специфика юридической трактовки суверенитета превращала с начала XIX века проблему федераций вроде Швейцарии или США в источник непреходящих интеллектуальных мук: как же можно разделять «верховенство, полномочие и независимость»?! Мысль политика гораздо проще воспринимает задачу разграничения разных видов политической собственности на одном и том же пространстве. Если, конечно, ее не вдохновляет задача иного рода – использовать аппарат законничества, чтобы утвердить монополию единственного обладателя «неотъемлемых прав»! Когда Второй рейх объединил германские королевства и княжества, сохранившие своих государей и отчасти местные законы, многие юристы, в их числе знаменитый Георг Еллинек, писали о том, что земли рейха – это, конечно же, государства, но какие-то... несuverенные. Но политик Бисмарк, не смущаясь, рассматривал королей и князей рейха как «суверенов» – и вел корабль новой великой державы с оглядкой на их «неотъемлемые права».

В 1913 году несостоявшийся юрист Владимир Ленин в письме к Степану Шаумяну, осуждая трактовку «права на самоопределение» частей империи как «права на федерацию», написал: «Абсолютно не согласен... Федерация есть союз равных, союз, требующий *общего* согласия. Как же может быть *право одной* стороны на *согласие* с ней другой стороны?? Это абсурд» [Ленин, 1970: 234]. Парадоксально, что эта формула – «право на чужое согласие», казавшаяся Ленину нелепостью, имеет ясный смысл как определение всякого политического суверенитета: ведь он есть не что иное, как осуществление заявляемого субъектом власти права на некое базисное с ним согласие иных подобных же властителей. Я думаю, что вопреки автору «Государства и революции» данная формула относится и к членам федерации постольку, поскольку федерация представляет одну из форм геополитических структур признания, в которых устанавливаются и разграничиваются суверенитеты. Немаловажно, что юридическая мысль иногда очень близко сходилась с предлагаемым политологическим пониманием федерации. Так, советский правовед Иосиф Левин в замечательной книге «Суверенитет» замечал: «Утверждение частей федерации как государств-членов в конституции федерации не означает их конституирования (как, например, конституирования единиц самоуправления или автономных образований), а признание их как государств, а именно как государств-членов» [Левин, 1948: 302–303]. Через проблематику структур признания суверенитеты членов федерации входят в мировой спектр суверенитетов как предметов политологического обсуждения\*.

\* В выражениях вроде «суверенитет ограниченный», «половинчатый», «частичный» проступает компромисс между многообразием и подвижностью реалий, с которыми «суверенитет» соотносится в политическом языке, и той эталонной абстракцией юридического суверенитета, под которую подходит только ограниченная часть этих данностей. Я должен выразить здесь глубокую благодарность Илье Ерохову (ИФ РАН). Мы с ним долго спорили о «суверенитете» в политике, прежде чем от «полновластия и независимости» перешли к «политической собственности».

## «Дремлющие суверенитеты» и бодрствующие их пользователи

Приведенная только что цитата из Левина подтверждает тот тезис, который я не устану повторять: медитативные абстракции, выдаваемые юристами за нормы, часто позволяют политику и политологу ухватить важные опорные моменты коловерты исторического вечного становления. Это относится и к вековым дискуссиям насчет «истинного» носителя суверенитета.

В этом вопросе идеальный отправной пункт представляет, конечно, монархия. И вовсе не та, где император или король мыслится олицетворением суверена-народа (как у Канта или Гегеля). Но та, где он держит власть как собственность, безразлично – полученную ли от Бога, или в вечный подарок, раз навсегда, от народа (по Гроцию), или в силу договора людей, уставших от «природного» взаимоистребления и отрекшихся от проявления политической воли в обмен на защиту, простертую над ними сувереном (Томас Гоббс). Как правило, абсолютная монархия представляет единение собственника суверенитета с его же пользователем – и в этом смысле выступает как модус суверенитета, наименее подверженный мистификациям (суверенитет с неизменно чистой совестью).

Как только мыслители отходят от этого модуса – отходят вместе с народами, – начинаются споры, приведшие в XX веке к двум общеизвестным доктринам, политически одинаково абсурдным. Одна из них – в вариантах, носящих имена Ганса Кельзена и Гуго Краббе, – предполагает для новейшего времени растворение боденовского «не связанного законами» суверенитета в верховном законе: предполагается либо то, что верховенство конституции в жизни государства снимает вопрос о суверенитете (Кельзен), либо – что суверена следует видеть в самой конституции (Краббе).

Осмеивая эти решения, язвительный Карл Шмитт доказательно выводил их из условий современного государства, «в котором профессиональное чиновничество отождествляется с государством как самостоятельная властная сила и отношения чиновников представляются как нечто специфически публично-правовое, отличное от обычных служебных отношений» [Шмитт, 2000: 39]. С политической точки зрения доктрина Краббе – Кельзена заслуживает следующего соображения. Суверенитет – геополитичен. В эпоху конституционных режимов любая конституция действует внутри границ, за которыми кончается ее сила и начинается правовое верховенство другой конституции. Но чем определяется это размежевание? Сами по себе конституции между собой никогда не спорили за пространство, не нападали одна на другую, не воевали и не договаривались друг с другом, не признавали одна другую как хозяйек на своих территориях. Политически вопрос стоит так: между кем и кем разделялась земля на пространства, где конкретные конституции могут юридически верховодить?

Отвергнув эту доктрину, Шмитт предложил свою, знаменитую провокативной броскостью: «Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» – а именно когда государству грозит опасность, не предусмотренная законами [Шмитт, 2000: 15]. Собравшись по юридическому цеху имели все основания упрекать Шмитта в незаконном смешении «суверенитета» и «компетенции», но этот мыслитель на то и шел, заявляя, что о самом суверенитете спорить бессмысленно, а можно – лишь о том, кому его приписать. Для меня

всего важнее то,

*что в XX веке, с закатом великих европейских монархий, язык политики уверенно отличает носителя суверенитета от того, кто принимает любое, сколь угодно ответственное решение.*

Немыслимо утверждать, будто в 1938 году между фюрером Адольфом Гитлером и президентом Эдвардом Бенешем шел спор за суверенитет того или другого из них над Судетами. Мы говорим, что Борис Ельцин, расстреливая Верховный Совет России из танков, тягался за свою верховную власть – но не решился ни сказать, ни написать, что он боролся «за свой суверенитет». Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе в конце 1980-х не свой суверенитет над акваториями Берингова моря сдавали американцам. В наше время (за исключением короля Саудовской Аравии и нескольких подобных ему фигур) те, кто принимает решения, не считаются за суверенов. Вопрос о том, «кто в лесу хозяин», может быть практически очень значимым, но в политике он ставится вовсе не так, как это делает Шмитт.

Аберрация Шмитта и его русских поклонников вроде Александра Филиппова, величающих «суверенами» фюреров и президентов XX–XXI веков [**Филиппов, 2008**], состоит именно в том, что они подверстывают эти новые политические роли под абсолютистский стандарт раннего модерна. При этом совершенно не учитывается то, что сделал из «суверенитета» и «суверена» зрелый и поздний модерн, выстроив новые, небывалые ранее площадки для политики.

Ведь подобные явления как маргинальные, временные знала даже и монархическая парадигма (ими занимался еще Гроций) – когда во имя малолетнего монарха решения высшего уровня принимали регенты. Или когда умница Людовик XIII, не чувствуя в себе психических сил для проведения абсолютистского курса, вверил верховную компетенцию железно стоявшему за этот курс Ришелье, а сам страховал этого пользователя своего суверенитета, добровольно усвоив роль если не «спящего», то «дремлющего» суверена. В новейшей истории стало нормой различие между законными пользователями суверенитета – как правило, лицами в обозначенных конституцией должностях – и маячащими за спинами этих деятелей обобщенными изображениями предполагаемых «истинных суверенов».

Все мы знаем, что такими могут быть: Народ в смысле общности граждан (так сказать, «народ-1»), Государство, которое еще иногда называют Нацией, имея в виду единство населения и территории страны с институтами власти («нация-1», в том числе в названии ООН), наконец, Нация, понимаемая как этнос, помогающий своей государственности или реализующий ее («нация-2»; иногда ее зовут и «народом» – что можно представить как «народ-2»). В каждом таком случае можно говорить об особом модусе суверенитета. Игры суверенитета в рамках одного модуса – вне зависимости от того, затрагивают ли они или нет фундаментальную схему отношения «факта» с «признанием», – делятся на: А) вершащиеся автономно пользователями суверенитета при явно «спящем» суверене – например, дипломатические; Б) законные (инерционные) постановки или имитации «пробуждения» суверена, подтверждающего или перераспределяющего полномочия пользователей; В) его пробуждения (без кавычек или в них) экстраординарные. Последние могут осуществляться как действующими пользователями суверенитета (это разного рода государственные плебисциты и

мобилизации – В1), так и активистами, ранее не причисленными к пользователям, но порою «в борьбе обретающими право свое» (таковы народные движения и восстания – В2).

По логике политической борьбы три эталонных «истинных суверена» способны изображать между собой весьма причудливые противоборства. «Народный суверенитет» может требовать смены оскандалившегося правительства, которое, однако же, способно обороняться под лозунгом «охраны государственного суверенитета от посягательств». Этнические группы, ищущие осуществить «национальное самоопределение», вступают в борьбу с властью, отстаивающей суверенитет государства («нации») или «всего народа» над территорией, с которой националисты видят себя эксклюзивно «породненными кровью». Дополнительные казусы создаются омонимией как «нации», так и «народа» в разных смыслах. Трудно тут не вспомнить деятелей, писавших в 1991 году, что о каких-либо «национальных интересах» СССР говорить неоправданно и о его «национальном суверенитете над чем-либо» тоже – так как СССР не нация, а полиэтническая империя, а значит, интересы и суверенитет у него могли быть лишь имперскими. Или тех, кто в 1995 году клеймил первую чеченскую войну, поскольку «демократическая власть не может воевать с народом». «Право наций на самоопределение» применительно к этносу («нации-2») и к государству («нации-1») несет смыслы откровенно антагонистические. В первом случае – право взорвать существующее государство, перекроив его землю в своих видах, опираясь, если понадобится и получится, на внешнее признание и зарубежную поддержку. А в отношении «нации-2» (государства) «право на самоопределение» – не что иное, как суверенное право бороться за свое выживание и целостность, давая укорот мятежным меньшинствам и не допуская чужого вмешательства в это внутреннее дело [Дмитриев и др., 1996: 82]. Интересно, что в таких контроверзах юристы также разбредаются по разные стороны политического поля: одни призывают возвести суверенитет каждого этноса во всемирно-правовую норму [Суверенная республика... 1998: 7], другие уверяют, будто «право нации на самоопределение» – это юридическое право только для государства уже состоявшегося, когда же речь идет о нации, только ищущей самоопределиться, это право – вовсе и не право, а сомнительное «морально-политическое пожелание» [Дмитриев и др., 1996: 82]. Омонимия различных «истинных суверенитетов», стравливаемых пользователями, иногда заставляет невольно вспомнить, что старина Боден не зря почитался одним из крупнейших демонологов своего века.

Суверенитет государства («нации-1») обращен против угрозы внешних посягательств и внутренних мятежей, грозящих гоббсовской войной всех против всех. Этот модус суверенитета не делает специального различия между сувереном и пользователями суверенитета – именно поэтому он весьма любим пользователями (правительствами). Напротив, для модуса «народного» суверенитета такое различие принципиально важно, ибо он постоянно имеет в виду две другие опасности – злонамеренность пользователей суверенитета («узурпация», «тирания») или просто их неадекватность обстоятельствам, требующую их смены. Тестирование пользователей на предмет их утверждения и смены – политическая схематика, неотделимая от модуса «народного» суверенитета (чем-то она напоминает древнекитайское представление о «мандате Неба», вручаемом правителям и отнимаемом у них). Монарх не мог свергаться народом, пока был собственником суверенитета, но народ получил политическое право на революцию, когда монарха стали мыслить как пользователя, который мо-



жет зарваться или проявить бездарность. В XIX веке монархии Бонапартов, признававшие «народный» суверенитет, исходили из предпосылки крушения прежних, дискредитировавших себя пользователей (все равно, монархов или республиканцев) и прихода новых, оптимально отвечающих общенародной воле.

Впрочем, если двести лет назад Наполеон I мог под таким предлогом спокойно учреждать наследственную империю, то XX век наработал список практик и институтов (парламентская демократия, регулярные выборы, разделение властей, конституция с записанными правами граждан, а за последние двадцать лет еще и рыночная экономика), которые ассоциируются с модусами демократического (народного и национального) суверенитета и предъявляются его пользователями как патент на признание в сообществе лидирующих демократий. На планетарной сцене эти пользователи фигурируют как доверенные лица «истинных суверенов», распоряжающиеся их политической собственностью: с суверенитета доверителя на пользователя переходит – суверенность. Однако возобладание в нынешнем мире суверенитета признания над суверенитетом факта, как всем ведомо, приводит к тому, что доверенные суверенов – мировых лидеров имеют возможность решать вопрос не только о собственности меньших суверенов (Косово), но также и о том, являются ли истинными представителями последних туземные политики, размахивающие демократическими патентами. Или следует отобрать эти патенты – как правило, не признав результата национальных выборов, то есть объявив выведенного на них «проснувшегося» суверена муляжом, – и объявить законным распорядителем его собственности какого-нибудь иного притязателя на эту роль.

Как и многие аналитики, не увлекающиеся юридическими миражами «полновластия и независимости для всех суверенов», я не считаю, будто в случаях назначения пользователей по решению мировых авторитетов местному суверенитету сразу приходит конец. Это совсем неочевидно. В конце концов, и в монархическую эпоху бывало, что лидеры Европы приводили к власти в тех или иных странах своих протеже: Людовик XIV насадил в Испании Бурбонов, воля Наполеона положила начало шведским Бернадотам, антинаполеоновское содружество штыками вернуло в 1814 году Людовика XVIII на трон его предков. Во всех этих случаях «облагодетельствованные» страны не утрачивали суверенного существования, если даже на какое-то время (обычно не навсегда) оказывались привязанными к политике своих милостивцев. Сегодня пребывание режима Саакашвили на американских кормах – и податели их, и получатели объясняют эту благостыню как поддержку против коррумпирования грузинской власти из местных источников – не мешает данному режиму провозглашать полные суверенные права Грузии на Абхазию, которым абхазы противопоставляют свои основания суверенитета. В конце концов, для кого кто «вражеская марионетка», а кто «суверенный товарищ по борьбе за правое дело» – проистекает не из самого языка, а из расклада конкретной игровой партии.

Я полагаю, что при анализе реальной политики, когда дело касается суверенитетов, диалектика «факта» и «признания» должна сочетаться с диалектикой задействованных модусов «истинного суверенитета» (а также резервируемым, но востребуемым отнюдь не всегда, а, наоборот, достаточно редко различием между «спящими» суверенами и бодрствующими пользователями их «неотъемлемых прав»). Именно такой аппарат позволяет исследовать те ситуации, когда игры суверенитета утрачивают инерционный (правовой) характер и

соединение конъюнктуры с мобилизацией создает эффекты, воспринимаемые в мире одними как пробуждение крепко «задремавших» было суверенов, а другими – как творение новых геополитических гомункулов и големов.

### **«Суверенитет» утверждается в России – в облике федерации**

Правомерность и эффективность предлагаемого аналитического аппарата хорошо видны на российском примере, где все узорчье приключений суверенитета образуется двумя линиями: одна прочерчивается перипетиями претензий, фактов и признания, а другая – отношением между сменяющимся модусом политической собственности и практиками его пользователей (это, так сказать, проблематика совести российского суверенитета, обретшая едва ли не главенствующее значение на нынешней стадии нашей цивилизации).

Наши сегодняшние правоведа-государственники могут сколько угодно возмущаться тем, что их предшественники тридцать лет назад принимали как политическую данность, – официальным образом СССР в виде суверенного государства, состоящего из суверенных же государств-республик. И думается, вопреки некоторым авторам дело было не только в пресловутом «спящем суверенитете» провозглашенного, хотя процедурно и не расписанного права республик выйти из Союза. Ведь, хотя автономные республики без права выхода конституционно не расценивались как суверенные, советские юристы не считали за грех рассматривать в своих комментариях и АССР как «одну из форм национальной государственности, в которой воплощена суверенность нации», отмечая: «в том ее сходство с союзной республикой» [Златопольский, 1970: 162]. На самом деле суверенитет советских республик являл собою переписанное в виде правового положения сугубо политическое понимание суверенитета, которое я раскрыл выше, – как политической собственности, состоящей в «неотъемлемых правах» (между прочим, юриспруденция тоже попыталась отразить эту политическую идею, выдвинув понятие «субсидиарности» прав суверенов, невыводимости прав одного суверена из прав другого).

Учреждение СССР было тем, чем вообще бывает создание любой федерации – сотворением особой (внутрисоюзной) геополитической структуры признания. Правда, надо оговорить – с Центром как важнейшим, лидирующим элементом (но ведь так и бывает в сильных федерациях), что проявлялось даже и в горбачевских схемах реорганизации Союза по формулам типа «9+1». Как и в системах международных, по ходу эволюции внутрисоюзной системы суверенитеты могли возникать и ликвидироваться: вспомним истории ЗСФСР и Карело-Финской ССР. Кто хочет, пускай причитает насчет «правовой мины замедленного действия», дескать, заложенной в это государственное здание реформированной империи. Но очень сомнительно, чтобы на начало 1920-х объединение советизированных пространств было гармоничнее достижимо на иных путях – будь то «мягкая» конфедерация или автономизация посталински. Эти пути выглядели куда более провокативными, а мина неопределенно замедленного действия – вон их сколько повыкапывали неразорвавшихся с Отечественной войны! – все же привлекательнее едва удерживаемой в руках бомбы с выдернутой чекой.

В то же время безоглядный пропагандистский культ суверенитета – суверенитета, каковой «служит интересам мира и безопасности всех государств и народов, содействует со-

циальному прогрессу и развитию самых гуманных отношений во всех сферах человеческой деятельности» [Агабеков, 1985: 5], – работал в СССР не только на прославление нашей собственной государственной конструкции. С не меньшей, казалось, силой он служил подрыву позднеколониальных империй и послеколониальных сфер влияния западных держав – этих «империалистов», зачастую пытавшихся вводить деколонизацию в рамки по-разному обусловливаемого суверенитета признания. На это наша пропаганда не уставала превозносить «самоопределение свободлюбивых народов» по схеме суверенитета факта – даже и в оголтело этнократических версиях. Поражает, что в 1980-х советские юристы могли отрицать законную силу тех колониальных референдумов, на которых жители решали все-таки оставить ту или иную территорию под властью прежней метрополии. Отрицали с тем резонансом, что голосовавшее «местное население в своем значительном большинстве состоит уже не из коренных жителей, а из пришлых элементов» [Агабеков, 1985: 34], неправомочных решать судьбу края. Кто бы предвидел, что через считанные годы ровно такими же соображениями будет обосновываться низведение массы «русскоязычных мигрантов» Прибалтики в «неграждане»!

Вместе с тем как клеветническое измышление напрочь отлетелся вполне реалистический взгляд западных экспертов на систему Варшавского договора и СЭВ, усматривавший в них особую международную систему «ограниченного суверенитета» (я бы сказал – специфическую структуру признания), регулировавшуюся принципом общего интереса социалистических стран в кремлевском истолковании этого интереса. Утверждение в советской геополитической сфере механизмов суверенитета признания при культивировании суверенитета факта во внешней и внутренней пропаганде и превознесении Союза как «суверенитета суверенитетов» – эта риторика неизмеримо больше поспособствовала концу Империи, чем злополучное право выхода, так бесящее иных законников.

Но это я пока что – о причинах общих, отдаленных, из тех, что чаще даже и остаются в царстве возможного. Ближайшей же причиной надлома «большой России» – СССР, как я показал еще в 1992 году, стало включение в нее под названием «республик Советской Прибалтики» государств, которые принадлежали с внутрисоюзной и с западной точек зрения к различным системам признания – и в результате политики Горбачева превратились в «шлюзы» между двумя системами. К 1988 году достигнутое большое согласие с западными лидерами по вопросам обустройства Демократического Севера побудило Горбачева пойти на сброс дорогостоящей восточноевропейской сферы влияния под лозунгом «невмешательства» во внутренние дела ее стран (перевода последних на суверенитет факта).

Прибалтийским республикам предстояло сомкнуться уже не с внешним бастионом Империи, а с новообразуемой лимитрофной зоной. Еще в преддверии бархатных революций 1989-го – с конца предыдущего года – эти республики, сознавая особенность западного к себе отношения и пользуясь внутрисоюзной «оттепелью», берут курс на повышение уровня суверенитета (с ноября 1988 года по июль 1989 года по всей Прибалтике республиканские законы объявляются выше союзных). Со своей стороны Москва, не желая слышать о независимости прибалтов, практически не препятствует им наращивать «неотъемлемые права» внутри федеративной структуры признания. С осени 1989 года лишь либерализуемая союзная граница отделяет Советскую Прибалтику от лимитрофа, и с этих же месяцев остальные

республики, включая Россию, одна за другой устремляются вслед за прибалтами в эскалации суверенитетов (я указывал на такие явления, как таможи на внутренних границах, всеобщее верховенство республиканских законов, двусторонние договоры республик в обход Центра, законы о языках) [Цымбурский, 1992].

Пытаясь создать себе новую клиентулу на уровне автономий и тем самым существенно расстроить парад суверенитетов, союзный Центр неожиданно применяет идеи сахаровской Конституции и объявляет автономные республики в числе субъектов реформируемого Союза (закон от 26 апреля 1990 года «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации»). Ответом демократической России (РСФСР) становятся два прогрессивных заявления Бориса Ельцина – в мае того же года на I съезде народных депутатов республики и в сентябре на II сессии ее Верховного Совета. В первом он подхватывает горбачевскую эстафету и объявляет субъектами новой России «не только национально-автономные, но и территориально-экономические образования», то есть края и области. Но в той же речи прозвучал и намек на растворение этих низших суверенитетов в разных – в том числе и сугубо неполитических – видах «неотъемлемой собственности»: «...самый главный первичный суверенитет в России – это человек, его права. Далее – предприятия, колхоз, совхоз, любая другая организация – вот где должен быть первичный и самый сильный суверенитет. И, конечно, суверенитет районного Совета или какого-то другого первичного Совета» («Известия», 25 мая 1990 г.). Однако, осознав, что подобной абсурдизацией суверенитета он устремляется прямо в ловушку, расставляемую Горбачевым, президент России к началу осени меняет риторику и, не отрекаясь от возведения краев и областей в ранг субъектов Федерации, обещает автономиям новые, договорные отношения, устанавливающие разные уровни суверенитета: «...сколько возьмут республики на себя, сколько смогут они, может быть, это грубовато, властных функций проглотить, сколько всего реализовать, взять на себя, пусть берут» («Известия», 27 сентября 1990 г.). Тогда же, во второй половине 1990-го, Россия увидела феномен Татарстана, самочинно себя возведшего из АССР в ССР и потребовавшего себе места за столом учредителей нового Союза, но быстро натолкнувшегося на жесткий отпор «коренных» союзных суверенов, решительно настроенных против допуска «самозванцев» в свой клуб.

Те, кто был зрителем нашего федерализма первых послесоюзных лет, никогда не забудут того разгула внутренней и трансграничной геополитики. Внутри России проступают, оформляясь съездами и декларациями местных «суверенных» боссов, мощные территориальные блоки – Большой Урал, Большая Волга, Сибирское соглашение, Северный Кавказ с его экономическими региональными совещаниями. Одним казалось – Россия идет в раскрой, другим (немногим) рисовалось новое Царство Царств. И в пору жесточайшего ослабления Москвы, ее фактического перехода в делах с мировым цивилизованным суверенитетом признания («kozyревские годы») этот разыгравшийся федерализм не только не развалил «остров Россию», но премного послужил распространению ее влияния на смежные земли тех новых лимитрофных государств, которые, пытаясь оформить свой новодельный этатизм по национально-унитарной схеме, входили в конфликты со своими меньшинствами и «областниками», имевшими перед глазами российские примеры. По российской кайме – «шлейфу острова» – возникают непризнанные и полупризнанные государства, обычно вписываясь в

1990-х в становящиеся региональные структуры признания, перехлестывавшие российскую границу (такой, например, была в первой половине прошлого десятилетия структура северокавказская, с прихватом Южной Осетии, Абхазии и Крыма).

Те баснословные года, с их мощным вторжением чисто политического отношения к суверенитету в область правотворчества, запечатлелись в государственных реалиях России начала нового века: в немислимом до 1990-х статусе областей как субъектов Федерации; в ее договорах со «своими» республиками как «суверенными государствами в составе Российской Федерации» и особенно с Татарстаном, который величался в договоре «ассоциированным» с Россией государством (это позволяло татарским политикам даже и в начале 2000-х заявлять о верховенстве договора как «международного документа» над Конституцией России); наконец, в конституционном утверждении о равноправии всех федеративных субъектов – утверждении, не то пригибающем республики до областей, не то возвышающем области до республик.

Борьба российской верховной власти в последние восемь лет с «хаосом в федеративных отношениях» началась в июне 2000 года «наездом» Конституционного суда России на Республику Горный Алтай и последующим определением в адрес остальных республик, чьи конституции объявляли их «суверенными» – а таких было до пятнадцать [Михайлов, 2004: 406]. Постановление утверждало: «Суверенитет, предполагающий <...> верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус. Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя и источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу Конституции Российской Федерации, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, то есть не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 2000: 5165–5166]. Потому постановление с определением требовали исправить все местные конституции, несущие упоминание о суверенитете, а заодно не велели применять и статьи в Федеративном договоре, где бы встречались аналогичные пассажи.

Все это было бы безукоризненно, если бы российская Конституция не содержала в себе еще и раздела 2 «Заключительные и переходные положения», где, в том же пункте 1, которым устанавливается преимущество Конституции перед Федеративным договором, приводилось полное название раздела в последнем, звучавшее как – «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти суверенных республик в составе Российской Федерации».

Получалось, что ради соответствия российской Конституции из местных конституций следовало выкинуть, а в текстах договоров Федерации с республиками игнорировать формулу «суверенные республики», вписанную в сам Основной Закон России! Своей пара-

доксальностью решения Конституционного суда от июня 2001 года оказывались вровень с древним «парадоксом лжеца» («Все критяне лгут», – сказал один из критян»)\*. Но что до того, если самому Федеративному договору отныне не оставлялось иной судьбы, кроме как ступешаться перед решением судей.

Если Конституционный суд наступал на республики, исходя из понимания суверенитета в смысле «верховенства и независимости власти», то кое-кто из «отцов республик» пробовал защищать их суверенность, рассуждая не о «верховенстве» местного права, а о его неотъемлемости от статуса этих образований. В этом отношении показательны слова, произнесенные в 2000 году главой татарского Госсовета Фаритом Мухаметшиным: «Во всех вопросах, которые закреплены за Федерацией, она суверенна, и этот суверенитет распространяется на всю территорию государства. Но субъекты Федерации также суверенны в вопросах, которые закреплены непосредственно за ними» **[Мухаметшин, 2000: 10]**.

Но эти доводы били мимо цели. Ведь теперь речь шла уже не о споре политиков с правоведами. Судьи сами явно работали на новый политический курс, выступая *политиками*, а когда политик апеллирует к «полновластию, независимости и единству», как правило, это бывает нужно затем, чтобы прижать к ногтю каких-то других политиков. Так было и теперь. Судьи объявили, что российские республики вообще «не вправе наделять себя свойствами суверенного государства – даже при условии, что их суверенитет признавался бы ограниченным», поскольку «Конституция Российской Федерации связывает <...> статус и полномочия республик, находящихся в составе Российской Федерации, не с их волеизъявлением в порядке договора, а с волеизъявлением многонационального российского народа – носителя и единственного источника власти в Российской Федерации, который <...> конституировал возрожденную суверенную государственность России как исторически сложившееся государственное единство в его настоящем федеративном устройстве» **[Собрание законодательства РФ, 2000: 5166]**.

Итак, вопреки славному советскому правоведу Левину,

*наша Конституция в ее истолковании от 2000 года не признавала субъекты Федерации как таковые, но конституировала эти субъекты, создавала их согласно желанию многонационального народа, а вместе с ними творились и их власти, не имевшие никаких собственных прав, кроме тех, которые им передоверяла власть общероссийская.*

О чем судьи прямо и заявляли: «Соответствующие полномочия и предметы ведения проистекают не из волеизъявления республик, а из Конституции Российской Федерации» **[Собрание законодательства РФ, 2000: 5169]**. Особенно впечатляет судейский комментарий к включенному бы-

---

\* Решение Конституционного суда России с его ссылками на Конституцию по сути своей – очень яркий пример так называемой двойной ловушки (double bind) – внутренне противоречивого, самого себя опровергающего требования. Деструктивной роли подобных ловушек в политике посвящена недавняя блестящая работа **[Поцелуев, 2008]**.

ло в горно-алтайскую конституцию прямому запрету складировать на земле республики радиоактивные отходы и отравляющие вещества. Этот запрет оказывался антиконституционным, поскольку расщепляющиеся материалы, а также химические яды по российской Конституции (ст. 71, пп. «ж» и «м») попадали в ведение Центра. Горный Алтай выступал узурпатором, «исключая возможность какого бы то ни было федерального регулирования» в отношении использования подобных субстанций на своей земле. Однако же по прямому смыслу этого «антиконституционного» запрета выходило, что республика сопротивлялась лишь такому «федеральному регулированию», которое состояло бы в завозе изотопов и ядов на Алтай. Но ведь несть власти в Федерации, кроме той, что происходит от ее «многонационального народа»! Московские функционеры, если бы приняли решение устроить по уральским образцам радиоактивную свалку на Алтае, могли бы с полным правом сослаться на волю этого «дряхнувшего» суверена. А алтайцы в своем протесте не могли бы опираться на суверенитет своего собственного «многонационального народа», ибо такого народа, как выяснилось, не существует вовсе, а сама республика оказывалась сотворенной из небытия той же самой волей, которая возжелала бы восшинковать ее недра смертоносными продуктами. Такая вот политическая теология вышла из-под юридических сводов.

На самом деле в 2000-х Центр пытается закрыть вставший в 1990-х принципиальный вопрос: обладают ли нынче субъекты России, признанные тогда за «суверенов» постесоюзными хозяевами Кремля, собственными «неотъемлемыми правами» – или их полномочия производны от прав власти всероссийской, ниспосланы от нее? Проходящая через «нулевые» годы атака против эпитета «суверенный» в конституциях и договорах ельцинского десятилетия была нацелена на то, чтобы под предлогом защиты юридического («боденовского») суверенитета решить вопрос о политической собственности в России.

Интересно, что в своих актах 2000 года конституционные судьи изображали себя защитниками равноправия всех субъектов Федерации: дескать, какое же может быть равенство субъектов, объявленных «суверенными», с теми, которые этого не удостоились. Однако отмена в 2004 году выборов губернаторов в областях должна рассматриваться как часть того же самого похода против «неотъемлемых прав» местных властей. Вопреки многим критикам этого акта он не имел никакого отношения к большей или меньшей демократичности российской политике (достаточно примеров того, как региональные боссы сводили решения резонно ставят ему в плюсы и возросшую значимость местных законодательных собраний [Чадаев, 2006: 81–83]. Необходима лишь одна к нулю даже видимость политической жизни в своих владениях). Защитники этого оговора – эта значимость оказывается сугубо рекомендательной, так как власть губернатора отныне обретает свои основания не в праве субъекта Федерации, а в президентском назначении.

Подытожим проделанный обзор. На Западе федерация лишь осложнила проблематику суверенитета, эталоном которого виделся унитарный абсолютизм – в масштабе ли великого национального государства или мелкого немецкого княжества. У нас имперский абсолютизм не сблизился с идеей суверенитета: последний по-настоящему к нам вошел даже не с большевистскими внешнеполитическими декларациями, но вместе со сквозной федерализацией России – как одна из важнейших тем новой эпохи. При этом основной смысл суверенитета у нас – не тот, который господствует в юриспруденции, а тот, который издавна обозначился на Западе в его Realpolitik. Только у нас этот смысл («неотъемлемые местные пра-

ва», «политическая собственность») обретает настолько высокий статус, какого на Западе он никогда не имел: у нас этот смысл становится такой же приметой нового состояния России, какой для Европы стала четыреста лет назад «политическая теология» суверенитета абсолютистского.

Если задумываться над тем, что нового несет понятие суверенитета в сравнении с базисным понятием власти, то можно прийти вот к какому выводу. Реальное смысловое приращение состоит в том, что «суверенитет» представляет власть на фоне мира, ею не охваченного. В этом, «внешнем», аспекте суверенитет – политическая универсалия, хотя и открытая Новым временем, но применимая к самым разным временам и государствам.

А вот с «внутренним» аспектом суверенитета дело обстоит иначе. Нелегко сказать, чем суверенитет Людовика XIV отличался от власти китайских императоров или турецких султанов, а открытый в результате критики суверенитета монархического народный суверенитет – от полновластия афинского демоса.

*Во «внутреннем» аспекте суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности.*

Однако идея, исторически отмеченная печатью определенной цивилизационной ситуации Европы – когда «неотъемлемые права» государственной власти приходилось по-новому мотивировать в условиях низложения общеевропейской католической вертикали. Поэтому из внутренней жизни российского общества «суверенитет» может значить нечто большее, чем просто «власть», лишь постольку, поскольку нам приоткрывается некое принципиальное сходство между состоянием России в наши дни – и состоянием раннего модерна Европы.

### **Посттоталитарный образ суверенитета**

У послесоюзных игр суверенитета имеется и второй аспект – он состоит в пересмотре и реорганизации тоталитарного модуса этой идеи.

Выражение «тоталитарный» ни здесь, ни в каких-либо других моих работах не имеет смысла ругательного. Политический модус, о котором идет речь, я связываю вовсе не с видением груды черепов. Вообще, груды черепов – это, на мой взгляд, примета молодости тоталитарных режимов, еще не осознавших и не кодифицировавших своего суверенного модуса. Тому свидетельство – известное игнорирование функции компартии в сталинской Конституции. Вопреки политологам, полагающим, будто с окончанием больших импровизированных репрессий и умножением поветрий идеологического и культурно-стилевого попустительства тоталитарный порядок надо спешно переименовывать в авторитарный, я вижу в политической ритмике советского так называемого застоя и в дискурсе Конституции 1977 года истинную respectable зрелость политического тоталитаризма, осознавшего себя и снисходительно отмежевывавшегося от тиранических эксцессов своей молодости.

Я полагаю, что тоталитарная трактовка суверенитета состоит в оригинальном снятии обычного для Запада дуализма «истинных суверенов» – «народа» и «нации-1» (государства). Достигается это снятие благодаря роли единственной массовой партии, которая выступает сразу



в двух ипостасях – в одной представая как «авангард советского народа», а в другой – как «ядро... политической системы, государственных и общественных организаций». Ссылаясь на проциательное оруэлловское различие «партии внешней» и «партии внутренней», я полагаю оправданным именовать две указанные ипостаси соответственно терминами «партия-народ» и «партия-государство» (последний имеет уже прочную традицию, первый относится к той реальности, которая берет начало в массовых партийных призывах 1920-х годов). Благодаря этому институту народный суверенитет «естественно» трансформируется в государственный, пребывающий в постоянном пользовании слоя высших управленцев [Цымбурский, 1993].

Ликвидация в результате парада суверенитетов компартии как интегративного института кладет конец тоталитарному модусу, а с ним и той регулярной государственности, в которую полития большевизма вызрела ко второй половине 1960-х. Долгое время отечественные и западные эксперты характеризовали порядки, наступившие на послесоюзных территориях с 1992 года, достаточно неопределенным понятием транзита. В 2000-х приходит черед более четких типологических дефиниций, пытающихся ухватить особенности ситуации, утвердившейся здесь – в разных ее вариантах – «всерьез и надолго». Известность обретает версия Томаса Карозерса, различающего в послесоюзном мире А) режимы собственно авторитарные; Б) характеризующиеся «политикой господствующей власти» (где при «большинстве основных институциональных форм демократии» «одна политическая группировка... доминирует в системе таким образом, что имеется очень слабая перспектива смены власти в обозримом будущем», а «основные активы государства... постепенно переводятся в подчинение правящей группы») и В) режимы «слабого плюрализма», где формальная демократия институтов обслуживает раздрой олигархических группировок [Carothers, 2002: 5–21; Михайлов, 2004: 40–45]. Я полагаю, что первые две формы правления могут быть объединены под названием, которое в середине 1990-х предложил российский историк и политолог Андрей Фурсов, а именно «кратократия», «власть имущих власть» – имущих ее просто в силу того, что в некоторый решающий момент около нее оказались.

Хотя источником власти во всех послесоюзных конституциях неизменно объявляется «народ», однако эталонный посттоталитарный «народ» при кратократиях и слабом плюрализме предстает «толпой одиноких», погруженных в борьбу за личное выживание и личное преуспевание, в аполитичную «прайваси». Уже в 1993 году я писал о том, что посттоталитарный образ «народа» есть образ по сути тоталитарный, однако очищенный от идеологем, практик и социальных форм, обеспечивавших при тоталитаризме инсценирование «пробуждения суверена» – экстраординарные государственные мобилизации масс. При этом особое значение в государственном дискурсе обретает тема «человека как высшей ценности». Если в конституциях западных демократий права человека закладывались как ограничители государственного полновластия, то в системах кратократических существование власти как таковой становится предпосылкой функционирования структур повседневности, поддерживающих сколько-нибудь нормальное «приватное» существование людей. Бесценную роль в пропагандистском обеспечении кратократий обретают устрашающие примеры бесчинств, творимых – или творившихся в недавнее время при надломах верховной власти – группировками (бандами, клиентами, вооруженными движениями и т. д.), самоорганизовавшимися помимо государства среди посттоталитарного человеческого планктона: народам Цен-

тральной Азии такой урок преподносит Таджикистан 1990-х, обществам Закавказья – местная смута тех же лет, путинской России – «бессмысленный и беспощадный» русский бизнес ельцинского десятилетия [Пастухов, 2007].

По существу кратократический образ суверенитета – это версия абсолютистского «защищающего» суверенитета по Гоббсу, сулящего подданным некий род относительно спокойной жизни не в порядке осуществления их политической воли, а в обмен на их отказ от нее. При кратократии эксклюзивность существующей власти (часто склонной действовать в режиме «стабильность как оперативное задание») основывается на том положении, что какая-то же власть для общества, не желающего «всеобщей войны», необходима, – все же намечающиеся альтернативы быстро оказываются либо дискредитированы, либо отсечены. В таких условиях любой активизм, притязающий на смену пользователей суверенитета, легко воспринимается человеком из «толпы одиноких» как «экстремистская» агентура внешних или внутренних сил, грозящих устойчивому бытию («Вы хотите, чтобы кровь была, да?»). В рамках кратократического образа суверенитета объективно возникающая проблема смены верховных пользователей каждый раз решается ad hoc (по ситуации) – и, приводя примеры удачных ее решений, невозможно поручиться, что в каждом из таких примеров не имеешь дела со счастливой случайностью.

*Фактически круг пользователей суверенитета, более или менее узкий, трансформируется в реального суверена, в подлинные «народ» и «нацию» кратократий.*

Если тоталитаризм претендовал на реальное снятие зазора между гражданской общностью и государством, то посттоталитарные кратократии представляют собой присвоение собственности идеального суверена пользователем, единоличным или коллективным, в лучшем случае способным тешить себя мыслью о себе самом как о «спасителе государства», «олицетворении лучшего в народе» – то есть как о некоем организовавшемся подобии канувшей партии-авангарда.

Нарисованная картина может представиться карикатурной. Однако ту или иную степень приближения к ней мы видим на пространствах от Ашхабада до Минска, хотя всегда вместе с множеством тех специфических местных моментов, которые обычно и оказываются определяющими для народных и государственных судеб\*.

---

\* Следующий за Карозерсом Валентин Михайлов делает интереснейший вывод о возможности распространить эту типологию, предложенную для посткоммунистических государств, на политические режимы в субъектах Российской Федерации: «...хотя ни один из регионов Российской Федерации в течение постсоветского периода никогда не мог рассматриваться в качестве независимого государства, разнообразие политических режимов в регионах России и их характер позволяют их охарактеризовать с помощью тех же синдромов, которые были описаны... для стран мира» [Михайлов, 2004: 46]. Получается, в этом отношении субъекты Федерации выступают аналогами государств, а сама Россия – подобием международной системы.

## **«Оранжевые революции» и «суверенная демократия» – ответ, способный оказаться новым вызовом**

Не успела Москва разобраться с федеративными «суверенами», как события, всколыхнувшие Западную Евро-Азию и получившие после украинской осени 2004 года общее прозвание «оранжевых революций», обозначили перед Россией контуры нового тура игр суверенитета.

На сегодня российская политология располагает обширным опытом осмысления «оранжевого» феномена. Я отошлю читателя к увесистой монографии группы авторов во главе с Сергеем Кара-Мурзой «Революции на экспорт», где рассмотрены и подытожены более ранние статьи Рифата Шайхутдинова, Михаила Ремизова, Егора Холмогорова, Алексея Чадаева. Сейчас, после благополучно отошедших в прошлое президентских выборов 2008 года, многим хочется позабыть, какие ожидания, чаяния и страхи сотрясали наш политический слой три года назад: на днях шеф крупнейшего оппозиционного центра публично обозвал весь тогдашний мандраж делом неких застрашавших общество «кремлевских жуликов» – в убеждении, что никто не напомним ему о прогнозах, клокотавших под кровом его заведения в зиму 2004–2005. Скажу лишь, что у меня в те месяцы сорвался выход сборника геополитических работ – исключительно потому, что издатель-оппозиционер требовал непременно написать предисловие на «оранжевую» тему – полагая, что без этого никакая геополитика никому в кануны великих перемен не будет нужна.

Не буду говорить о мотивах, оттолкнувших меня от тогдашних затей моих коллег. Выскажусь лишь о том воздействии, которое – по моим сегодняшним оценкам – «оранжевый» вызов способен оказать на политическое будущее нашей цивилизации. Оказать не напрямую, а через обновляющийся язык российской власти.

В чем суть этого вызова? Я солидарен с вышеназванными авторами, трактующими квазиреволюции в Сербии, Грузии и на Украине как геополитическую обкатку нового типа международной легитимности, отвечающего имперской конструкции нынешнего «объединенного мира». Правда, должен оговорить, что считаю технологию этих революций специфическим инструментом геополитики лимитрофной, показавшим свою действенность на тех межцивилизационных площадках, где не только элиты, но и немалая часть населения подвержены исторической тяге к «усыновлению» в Большой Европе. Непохоже, чтобы подобная технология могла достичь успеха на цивилизационных платформах у тех обществ, где авторитет евроатлантических инстанций проблематичен и неустойчив (Иран, Китай, даже Россия). В порядке возражения указывают на «кедровую революцию» в Ливане. Но выступление ливанцев против сирийской оккупации, поддержанное прямой угрозой распространения иракской войны США на Сирию, происходило по существенно иной схеме и в иных условиях, чем «оранжевые революции», и, по-видимому, было сугубо пропагандистски притянуто Вашингтоном к их шестивью. Более того, 2005 год вроде бы указал эмпирическую границу результативности «оранжевой» технологии на великом лимитрофном поясе, тянущемся от Балтики до западной границы Китая: эта граница пока проходит по водоразделу между Черноморским и Каспийским бассейнами. К востоку от этого рубежа «революционеры» не преуспели – и не только в Азербайджане и Узбекистане, но на самом деле даже и в Кирги-

зии, где узаконенный «мировым цивилизованным» результат «революции тюльпанов» потонул во внутренних разборках.

Практически все эксперты, пишущие об этих квазиреволюциях, выделяют в их сценариях наряду с чертами привходящими – вроде примыкания части силовиков к «протестующему народу» – две основные. Это, прежде всего, само оформление мобилизованной толпы в виде «народа», желающего ненасильственно сменить власть в порядке реализации своего суверенитета. Статус этого «народа» с точки зрения заявляемого модуса его суверенности аналитики оценивают по-разному. Для Ремизова это – симулякр гражданской общности, классического «народа-суверена» европейских революций, которым восставшая толпа становилась в борьбе «за право свое» [Ремизов, 2004]. Кара-Мурза предпочитает говорить о сотворении «этноса» – о «политизированной этничности», каковая «может быть создана буквально “на голом месте” и в кратчайшие сроки, причем одновременно с образом врага, которому разбуженный этнос обязан отомстить или от которого должен освободиться» [Кара-Мурза, 2006: 73, 75]. Подобный подход Кара-Мурзы определенно смыкается с его известной трактовкой «новых русских» как образования не сословного и не классового, а этнического – «особого малого народа», «квазиэтноса».

*Чертой второй, едва ли не главной в «оранжевых» сценариях, политологи называют то обстоятельство, что победа «нового народа» определяется не его борьбой, а авторитетом мировых инстанций, возводящих «революционеров» в ранг «проснувшегося суверена»,*

а их лидеров – в признанные пользователи национальной политической собственности. Если говорить в предложенных выше категориях, суверенитет изображаемого «народа» реализуется как суверенитет признания, а режимы, непосредственно выходящие из котлов подобных квазиреволюций, могут быть определены как своего рода «кратократии признания». Другое дело – что некоторые из «кратократов признания» могут и потом пытаться имитировать роль народных вождей и тем самым в случае успеха частично реорганизуют имидж своей суверенности.

Эти результаты, к которым аналитики приходят через фактологию, можно подкрепить контекстами из двух датированных 2004 годом книг Джорджа Сороса – деятеля, чья роль в «квазиреволюциях» никем не подвергалась сомнению. В книге «О глобализации» Сорос (вообще замечательный мифотворец!) предлагает читателю миф о возникновении национального суверенитета из-за того, что французский народ, встав в конце XVIII века на борьбу за общечеловеческие идеалы свободы, равенства и братства, к сожалению, счел нужным провозгласить свою суверенную власть и создать для себя современное национальное государство. «С тех самых пор продолжается противостояние национального государства и универсальных принципов свободы, равенства и братства» [Сорос, 2004: 204].

В книге «Мыльный пузырь американского превосходства» великий филантроп повествует о тех же примордиальных событиях иначе: «Во время Французской революции король был свергнут, а суверенитет перешел к народу. С тех пор ему бы и принадлежать народу, но на практике он попал к государству в лице правительства». А потому требуется, «ус-

тановив, что суверенитет принадлежит народу... проникнуть в национальное государство и защитить права людей» [Сорос, 2004 (а): 104, 103]. Правда, Сорос признает: «Нельзя сказать, что с концепцией суверенитета народа все легко и просто. Как, например, решить, кто именно достоин права на самоопределение в обществе, где имеются этнические меньшинства или группы, объединенные разными идеями?». И все-таки, если правительство сопротивляется вмешательству в дела государства, производимому хотя и извне, но во имя блага здешнего народа, эти «возражения со стороны правительства прямо указывают на то, что оно нарушает суверенитет народа, а следовательно, и подходить к нему нужно как к нарушителю» [Сорос, 2004а: 104, 136].

Итак, идеолог и спонсор квазиреволюций прямо выступает за такой суверенитет народа, который мог бы взять верх над суверенитетом государства при поддержке мировых арбитров, решающих в сложных случаях – кто именно достоин в конкретных ситуациях называться «народом», обретая «неотъемлемые права» самоопределения.

Видение надвигающегося «бархатного» низложения Путина с его правительством и переработки России в страну, управляемую «оранжевыми» назначенцами, расслоило в 2005–2006 годах оппозицию – одних пленяя новыми горизонтами, других настраивая на иное отношение к действующей власти. Так, Кара-Мурза развил доктрину выдвижения в случае «оранжевой» угрозы и в противовес ей другого, инициативно «контрреволюционного» «нового народа». Такого народа, который поддержал бы власть в сопротивлении революционерам даже против ее желания – даже при готовности ее к самосдаче по примеру развращенных суверенитетом признания режимов Шеварднадзе и Кучмы. Поддержал как – по мнению этого народа – не вполне адекватную и «большую», во многом уже перенастроившуюся на «признание», но все-таки еще остаточную русскую власть. В условиях, моделируемых Кара-Мурзой и его соавторами, власть оказывалась бы перед двумя взаимоувязанными выборами – между двумя версиями российского суверенитета и между двумя «новыми народами», один из которых она должна была бы квалифицировать как «истинный», а другой – как «не-истинный», «мнимый».

Среди подобных событий и веяний середины десятилетия формула «суверенной демократии», многими сейчас увязываемая с именем Владислава Суркова, прозвучала заявлением о готовности власти при всей ее международной благонамеренности («мы себя считаем частью Европы», «держаться Запада – существенный элемент конструирования России») поставить на «факт» против слишком уж откровенных попыток замкнуть ее – верховную российскую власть – на «признание». Можно долго цитировать прямые заявления Суркова на этот счет, вроде того, что «демократия – это все-таки власть народа, а власть народа, как известно, суверенна. И это власть нашего народа в нашей стране, а не власть другого народа в нашей стране» [Сурков, 2008: 31]. И, по контрасту, – о том, что «политическое творчество далеко не всех наций увенчивается обретением реального суверенитета. Многие страны и не ставят перед собой такую задачу, традиционно существуя под покровительством иных народов и периодически меняя покровителей. Размножение развлекательных революций и управляемых (извне) демократий, кажущееся искусственным, на самом деле вполне естественно среди таких стран. Что касается России, прочное иновластие здесь немыслимо» [Сурков, 2008: 49].

Но намного интереснее случаи, когда спор о суверенитете проступает из текста, казалось бы, говорящего вовсе о другом, – выстраивается как потаенный рисунок-пазл. Таков ответ Суркова на слова Дика Чейни о том, как «Россия присоединится ко всем нам на пути к процветанию и величию. Это будет сообщество суверенных демократий, которые преодолели прошлые конфликты, которые чтят многочисленные культурные и исторические связи между нами...» и т. д. Присмотримся – все высказывание Чейни строится в будущем времени: Россия когда-нибудь присоединится к «суверенным демократиям», если будет достойна считаться одной из них, а решение на этот счет, конечно же, должны будут принять эталонные лидеры сообщества подобных демократий. Когда же Сурков говорит на это: «Я целиком согласен с тем, что понимает под суверенной демократией господин Чейни. Мы понимаем то же самое» [Сурков, 2008: 110], сие значит: «Мы уже силой факта являем суверенную демократию, и наши притязания считаться за таковую основаны на факте, а не на более-менее субъективной оценке со стороны тех или иных инстанций». Здесь можно усмотреть «протест против монополии на демократический дискурс» – но этот протест реализуется через скрытый спор не о демократии, а о схеме политического суверенитета.

Такого же рода пазл проступает и в том месте, где японский корреспондент спрашивает Суркова, «что такое суверенная демократия и чем она отличается от управляемой демократии» [Сурков, 2008: 110]. В обычном словоупотреблении «управляемая демократия» (конечно же, вовсе не антоним к какой-то «неуправляемой») – это одно из прозваний для демократии имитационной, когда общество не контролирует властной верхушки, поскольку волеизъявления общества («пробуждения суверена») в основном разыгрываются правителями себе в поддержку. Вопрос об управляемой (японец забавно проговаривается – «употребляемой») демократии – на самом деле это вопрос о «народном суверенитете», о возможности для провозглашенного суверена выбирать и сменять доверенных пользователей своей собственности. Ответ Суркова («На мой взгляд, управляемая демократия – это навязываемая некоторыми центрами глобального влияния, навязываемая всем народам без разбора, навязываемая силой и лукавством шаблонная модель неэффективных, а следовательно, управляемых извне политических и экономических режимов... Мы так понимаем управляемую демократию») означает вот что: «Вы осуждаете нашу власть, как управляемую демократию, пренебрегающую народным суверенитетом. На самом деле в качестве антитезы вы нам предлагаете под видом народного суверенитета демократию поистине управляемую – всецело опирающуюся на суверенитет внешнего признания».

*Формулу суверенной демократии вопреки некоторым комментаторам надо соотносить не с западной реакцией на «дело ЮКОСа» и не с чем-либо еще, а только с «оранжевым» вызовом в адрес Москвы, увязывающим народный суверенитет и суверенитет признания.*

В устах наших политиков и воспринявших ее юристов (Валерий Зорькин) она была бы безоговорочно сильным ответом на этот вызов, если бы не один настораживающий аспект. В России 1990-х «демократия – власть демократов» была обесмыслена и сведена чуть ли не к «речекряковой», автоматически вылетающей из политических ртов звуковой цепочке. Нетриви-

альное сочетание этого слова с эпитетом «суверенный» подновляет его смысл (как говорят лингвисты, «внутреннюю форму»), для чего ведь старается и Сурков, предлагая переводы этой формулы «на старомодный («самодержавие народа») и современный («правление свободных людей») русский» [Сурков, 2008: 44]. Но не обернется ли в таких прочтениях «суверенная демократия», поверх ответа «вражьи голоса», также и новым вызовом перед политической Россией – и теперь уже вызовом, не извне пришедшим, а внутренним, эндогенным? Как известно, любые толки о правах человека упираются в проблему – кого считать за человека. Не пробуждают ли слова о «самодержавии народа» и «правлении свободных людей» кое у кого желание спросить: «А кто здесь – народ? Кто – те свободные люди, которым будет принадлежать правление?». Такие вопросы – из тех, что способны породить очень гулкий резонанс.

### Суверенитет в судьбе двух высоких культур

Книга «Революции на экспорт» Кара-Мурзы и его коллег в моих глазах – свидетельство поистине о новом возрасте России, при том что сам этот автор всегда был склонен преподнести нашу цивилизацию как от века данный, любезный его душе традиционный уклад. Кара-Мурза умилительно воссоздает русское понятие народа, которое «вытекало из священных понятий Родина-мать и Отечество». «Народ – надличностная и “вечная” общность всех тех, кто считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства (власть персонифицировалась в лице “царя-батюшки” или другого “отца народов”, в том числе коллективного “царя” – Советов)... все водимые духом Отечества суть его дети и наследники». Этому русскому образу «народа» он патетически противопоставляет нехорошее западное (модерное) видение «демоса – гражданского общества», которым в революционном самоутверждении становились те, кто «совершили революцию, обезглавив монарха. Именно этот новый народ и получает власть, а также становится наследником собственности» [Кара-Мурза, 2006: 344–345].

Но как бы ни был антипатичен мыслителю этот западный облик «народа-суверена», Кара-Мурза сознает, что в обстановке весьма вероятной измены штабов, как государственных, так и официально-партийных, готовых согнуться под суверенитет признания, контрреволюционный новый народ, восстающий против «оранжевой» беды, «водимый духом Отечества», был бы не вправе исповедовать былую идентичность «сынов» существующей русской власти. Фактически этот народ в размышлениях Кара-Мурзы обретает сходство именно с западным обществом граждан, в борьбе обретающих право свое [Кара-Мурза, 2006: 494].

Примечательно, что, говоря о «новом народе», этот идеолог сочувственно – без всяких оговорок – цитирует Чадаева, который, работая с очень близкой схемой, однако же, предпочитает говорить не о сотворении «политического народа», а о «мобилизации сословия, могущего в критический момент выступить на авансцену как самостоятельная сила, имеющая свои отношения и с властью, и с революцией» [Чадаев, 2005: 59; Кара-Мурза, 2006: 502–503]. Так что же это все-таки за силы, противоборство коих рисуется воображению наших авторов? Народы? Сословия?

Сурков в одном из своих текстов, ссылаясь, как подобает, на выступления Владимира Путина, говорит про Россию: «...какой бы особенной мы ее с вами ни считали и какой бы

странной ее ни считали те, кто смотрит на нее со стороны... мы в целом проходим тот же путь, что и другие европейские страны» [Сурков, 2008: 127]. При этом он еще указывает на российский абсолютизм, состоявшийся в XVIII веке, примерно в то же время, что и в Европе. Это тот случай, когда я должен выразить и частичное согласие, и решительное разногласие с мыслью помощника президента. Социально-исторический, цивилизационный смысл того политического порядка, который называют нашим абсолютизмом, совершенно иной, чем у абсолютизма Европы. Там абсолютизм предстает первой формой надсословного государства, восторжествовавшего над феодализмом – владычеством земельной аристократии – и задавшего политические рамки, внутри которых ко второй половине XVIII века утверждается культурная гегемония «третьего сословия», то есть городского политического класса, в своем восхождении отождествившего себя с «народом», а в монархе склонного видеть самое большее – орган народного, то есть своего (третьесословного) суверенитета. Напротив того, у нас абсолютизм XVIII века был оформлением процесса, аналогичного не концу, а началу и пику европейского феодализма, – преобразив служилых «государевых людей» в землевладельческое «благородное сословие». Если говорить о движении цивилизации, то наш XVIII век предстанет соответствием не европейскому XVIII веку, а Высокому Средневековью Европы XII–XIII веков, когда былая прослойка герцогских, графских и королевских вооруженных слуг вырастает в господствующее сословие феодалов и рыцарей [Цымбурский, 2007]. Да, мы и правда прошли в XVIII веке ту же историческую стадию, которую некогда пережила Европа. Но разрыв в 400–500 лет – это уже не отставание, это другое цивилизационное качество.

Я хочу напомнить, что в Германии в первой трети XX века жил такой человек – Освальд Шпенглер, о котором у нас принято вспоминать разные забавные околичности – вроде того, как он различал «цивилизацию» и «культуру» или чудаковато писал о «фаустовской душе» европейцев. Этот человек вывел хорошо работающую схему большого социального цикла, который в разные времена и на разной технологической основе проходили так называемые высокие культуры – то, что сейчас, после исследований Арнольда Тойнби, принято называть цивилизациями.

По Шпенглеру, высокая культура всегда начинается с аграрно-сословной фазы: в этой фазе она склонна видеть себя в качестве духовной империи, «мирового царства» – а из этого переживания возникает сакральная вертикаль, религия или идеология, которая возводит людей этой высокой культуры в ранг Основного Человечества Основной Земли. Потом центры жизни данного сообщества из владений земельной аристократии переходят в города, наиболее продвинутые обитатели которых (городской демос) подвергают сомнению религиозные и культурные формы предыдущей фазы, поддерживают ревизию и обновление сакральной вертикали так, чтобы она отвечала их, горожан, мироощущению и содействовала их гегемонии. Эта, по Шпенглеру, эпоха реформации бывает отмечена крушением традиционных форм власти, разгулом тираний, из которого восстают, опираясь на городской политический класс, структуры регулярного надсословного государства. Я считаю нужным дополнить схему Шпенглера еще одной универсалией – контрреформационной волной, поднимающейся в ответ на реформацию как попытка согласовать великие ценности аграрно-сословной эпохи с бытием реформационного горожанина: последующая участь цивилизации



во многом определяется конкретным результатом столкновения этих волн. Во многом, но не во всем. И сейчас, обсуждая среднесрочные перспективы России, я намерен сделать упор на другие моменты.

Вопреки Шпенглеру, не считавшему, что к России открытый им цикл имеет какое-то отношение, я расцениваю ее как высокую культуру, которая «стартовала» в XV–XVI веках становлением Московского царства с его религиозными и художественными формами, в XVIII веке достигла стадии, соответствующей европейскому Высокому Средневековью, а со второй половины XIX века по наши дни переживает пору городской революции с временем тираний и с великой большевистской реформацией, собравшей разрушившуюся Белую империю под новую сакральную вертикаль (чего европейским протестантам XVI–XVII веков так и не удалось добиться при всех замыслах их лидеров реорганизовать Священную Римскую империю). А к концу XX века видим надлом большевистской государственности – и взбучание контрреволюционной волны («второе крещение Руси»).

При всей наглядности черт шпенглеровского цикла в истории России надо иметь в виду, что мы проходим этот цикл, будучи материально и духовно втянутыми в региональный, а затем и планетарный порядок, выстроенный высокой культурой Запада, и что мы все время реагируем на вызовы этого порядка – как Петр I в условиях еще только «феодализирующейся» России создавал промышленность, технологически отвечавшую уровню раннебуржуазной Европы, а продуктивностью отчасти даже превосходившую этот уровень. Такого же свойства проблему создают сейчас России ее мегаполисы (прежде всего Москва), города-порталы неоимперского «объединенного мира», по многим показателям соответствующие не российской стадии в шпенглеровском цикле, а нынешней стадии Запада (времени космополитических столиц и работающих на них империй).

Возвращаясь к сопоставлению цивилизационных ритмов Евро-Атлантики и ее российского сообщества-спутника, мы обнаруживаем, что состоявшемуся в XV–XVI веках распадению «духовной империи» Запада на суверенные государства – политическую собственность королей, князей и олигархий, – связанные поверх религиозных и идеологических расколов геополитикой и геокulturой, стадияльно соответствует крутая федерализация России в XX–XXI веках в две волны – с падением сперва православной империи, а затем большевистской идеократической сверхдержавы. И точно так же выкованное европейскими законниками и политиками XVI–XVIII веков в осмысление постимперской (раннего модерна) ситуации понятие суверенитета ни для кого не представляло большого интереса в России тех времен. Но оно обрело здесь исключительную жизненность именно в конце XX и XXI веке в применении к новому политическому «театру», где идея «верховой власти» схлестнулась с идеей «неотъемлемой политической собственности», укорененной в особенностях и традициях территорий, выделившихся в субъекты Федерации. Еще раз повторю – наш путь и впрямь сопоставим с путем Запада (и не только его – о других высоких культурах здесь нет места говорить), но насколько же по-своему выстраивается этот наш цикл: федерация обретает у нас значение, аналогичное тому, какое абсолютизм и national state имели в истории евроатлантической государственности и политики.

Далее, по логике шпенглеровского цикла эпоха городских революций и восхождения надсословного государства обычно бывает отмечена напряжением между двумя силами: по-

литическим классом городов, видящим в себе «народ» и симпатизирующим новой государственности, хотя иногда и выступающим против ее первичных «тиранических» версий, – и так называемой фрондой (по Шпенглеру), элитными группами, пытающимися перехватить становящееся «общенациональное» государство, переработать его в инструмент узкосословного властвования. Но в Европе, как и в истории многих цивилизаций, фронду, как правило, составляла старая знать – верхушка строя, размываемого и подрываемого городской революцией. У нас же старые сословия были напрочь сметены большевизмом, и фронда (так называемая олигархия с ее правовым, информационным, силовым и иным обеспечением) пережила свой «эмбриогенез» непосредственно внутри позднесоветского общества – как бы некоторые из этих людей ни замахивались восстанавливать преемственность прямым с Россией добольшевистской.

В «Текстах» Суркова вкраплены важные свидетельства о характере отношений власти и фронды при Путине. Откровенно высказываясь насчет «самозванства офшорной аристократии с ее пораженческой психологией» и взглядом на Россию как «зону свободной охоты», Сурков тем не менее убежден: «...даже называя этих людей офшорной аристократией, отнюдь не нужно считать их врагами. Все эти графы Бермудские и князья с острова Мэн – наши граждане, у которых есть много причин так себя вести» – пока, мол, они не уверятся, что положению их и их детей в России ничто и никогда не представит угрозы [Сурков, 2008: 52, 143]. На деле режим Путина, хотя и «укоротил» нескольких политически заигравшихся фрондеров, сделал очень много для того, чтобы этот слой обрел уверенность в своем будущем и отрешился от постоянно всплывавшего в ельцинские годы мотива – «билета на последний самолет». На самом деле истинные политические проблемы фронда будет у нас создавать в новом веке вовсе не своей «офшорностью», не вписанностью в транснациональный круг «людей давосской культуры», а той политической ролью, которую она способна потребовать для себя в стране, всерьез восприняв свою неуязвимость. Меня изумило прозвучавшее из уст Суркова сожаление об «отсутствии эффективного самоуправления в самых верхах нашего общества», о том, что, «как только властную вертикаль выдергивают из общества, высший класс, такой прекрасный и самодовольный, рассыпается в одну секунду» [Сурков, 2008: 34].

*Неужели наша верховная власть предпочла бы иметь дело с «самоуправляющимся» коллективным Ходорковским из 2–3 процентов населения, способным, организовавшись, перехватить суверенитет в обществе «с выдернутой властной вертикалью»?*

Наш городской политический класс, чье становление началось при большевизме, существует в странном статусе потенциального класса, растворенного в посттоталитарной «толпе одиноких», однако несколько раз впечатляюще проступавшего из нее за последние двадцать лет. В начале 1990-х, «раскачанный» фрондой, он поднялся против большевистского правления. Я уже в 1991 году был в числе немногих политологов, которые видели конец большевистской эпохи не в разгроме ГКЧП, а в образовании этого комитета – первого с 1917 года правительства, никак не связанного с коммунистическим ЦК, в те дни оказавшимся совершенно на отшибе от реальной политики. Я думаю и сейчас, что программа гэкачепистов

по основным пунктам отвечала интересам городского политического класса, хотя значительная его часть приняла этих людей за «реставраторов коммунизма» и выступила против них, «своих не познаша». В октябре 1993 года этот класс выдвинул многих защитников парламента. Последний (по времени) раз он напомнил о себе в 2003-м плакатами, взывавшими: «За “Родину”, за Глазьева!», в те месяцы, когда наша фронда впервые вступила на сцену публичной политики в лице своего «золотого мальчика» Михаила Ходорковского. Я не буду здесь подробно говорить о внутренней динамике этого класса, о его распаде в 1990-х на просвещенных «новых бедных» и тех, кого писатель Юрий Поляков окрестил «гаврошами российского капитализма», о предпосылках нового взаимопонимания в 2000-х между частью последнего контингента и «новыми бедными» (особенно «технарями») на основе сознаваемой ограниченности социальных перспектив у тех и других в сегодняшней России, претензий к власти («кратократии») и взгляда на фронду как «социальный затор».

Это именно слой, а не партия – слой очень неоднородный, и политическое его будущее в России вовсе не предрешено. Вполне вероятны попытки отдельных честолюбивых и энергичных фрондеров поставить протестные энергии этого слоя на службу своему кругу: в этом плане примечательна прочерченная Ходорковским нашумевшая программа «левого поворота». Как бы то ни было, нужно осознать, что при очевидном политическом бессилии деревни и цеховой раздробленности рабочих вопрос о «самодержавии народа» и «правлении свободных людей» может быть решен лишь в пользу одной из двух социальных групп: либо фронды, либо городского политического класса. Последний по логике цивилизационного цикла выдвигается на роль, сходную с той, которая на Западе раннего и зрелого модерна выпала третьему сословию – средней и мелкой буржуазии с ее интеллигенцией. Это при том несомненном обстоятельстве, что социальная и психологическая характеристики этого нашего потенциального политического класса далеко не совпадают с характеристиками европейских буржуа.

Надо решительно отказаться от модных попыток вменить этому слою функцию западного среднего класса времен холодной войны – сословия-умиротворителя, сословия – общественной прокладки. Люди иногда восстают просто оттого, что им нечего терять. Но революции они совершают потому, что видят в революции реальный шанс политического возвышения, обретения права своего. Либо слой – наследник советского протобюргерства политически пребудет ничем, и пути нашей цивилизации определятся компромиссом между кратократией и одворянившейся фрондой (с местными отклонениями в олигархический «слабый плюрализм»), либо, подобно западному третьему сословию и античному городскому демосу, этот слой сподобится самосознания и силы «народа-суверена».

Мимоходом отмечу, что попытки Кара-Мурзы и некоторых других авторов обсуждать расколы нынешней России в категориях рождения «политических этносов» – вспомним еще ославившийся роман Дмитрия Быкова «ЖД» с воюющими на его страницах за российское будущее «варягами» и «хазарами» – укладываются в тот же большой сюжет. Европа абсолютистских суверенитетов дала наглядные примеры квазиэтнического представления политических споров – будь то Англия середины XVII века, где в Великую революцию «потомки саксов» крушили «потомков норманнов», или Франция Людовиков, где за дворянством и третьим сословием маячили призраки – франков по одну сторону, галло-римлян – по другую.

## МИНИ-МОНОГРАФИЯ

«Суверенная демократия» – эта отповедь рядящемуся в «народный суверенитет» суверенитету признания – не только выразила прагматическое положение нашей верховной власти на грани между российским обществом и элитой «объединенного мира». Эта формула прихватывает еще и такие смыслы, о которых могли и не думать разработчики и пропагандисты. Так как на ней сомкнулись две главные внутренние проблемы нашего нового цивилизационного возраста: проблема определения «самодержавного народа» городской России – и проблема сочетания ее геополитической и геокультурной целостности с неотъемлемыми правами тех десятков «Россий», что проступили сейчас из нашей империи. Мы входим в эпоху, которую Шпенглер называл «летом высокой культуры». Вопреки Геннадию Зюганову, революция, длящаяся у нас уже второй век – городская революция, – еще не выработала своего лимита.



## Литература

- Bodin J.* 1962. Six Books of the Commonwealth. Cambridge.
- Carothers Th.* 2002. The End of the Transition Paradigm // «Journal of Democracy». № 13, 1.
- Kelsen H.* 1920. Das Problem der Souverenitaet und die Theorie des Voelkerrechts. Tuebingen.
- Krabbe H.* 1906. Die Lehre von der Rechtssouverenitaet. Groeningen.
- Krabbe H.* 1919. Die moderne Staatsidee. Groeningen.
- Le Grand Robert de la langue fransaise. 2001. Т. 6.
- Агабеков Г.Б.* 1985. Суверенитет в современной буржуазной политико-правовой литературе.
- Вышинский А.Я.* 1949. Вопросы теории государства и права. Москва.
- Дмитриев Ю.А., Магомедов Ш.Б., Пономарев А.Г.* 1996. Суверенитет в науке конституционного права. Москва.
- Златопольский Д.Л.* 1970. Автономная республика // БСЭ. Т. 1. Москва.
- Кара-Мурза С.Г.* 2006. Революции на экспорт. Москва.
- Левин И.Д.* 1948. Суверенитет. Москва.
- Ленин В.И.* 1970. Письмо С. Шаумяну. 13 декабря 1913 г. // Полн. собр. соч. Т. 48. Москва.
- Михайлов В.В.* 2004. Республика Татарстан: демократия или суверенитет? Москва.
- Мухаметшин Ф.Х.* 2000. Суверенный статус республики Татарстан открыл новую страницу в ее истории // Суверенитет Татарстана. I. Казань.
- Оппенгейм Л.* 1948. Международное право. Т. 1. Москва.
- Пастухов В.Б.* 2007. Темный век (Посткоммунизм как «черная дыра» русской истории) // «Полис». № 3.
- Поцелуев С.П.* 2008. Double binds, или Двойные ловушки политической коммуникации // «Полис». № 1.
- Ремизов М.В.* 2004. Неоколониальная революция: осмысление вызова // Сайт «Агентства политических новостей»; <http://www.apn.ru/publications/article1237.htm>
- Собрание законодательства РФ. 2000. № 25–29. Москва.
- Сорос Дж.* 2004. О глобализации. Москва.
- Сорос Дж.* 2004(а). Мыльный пузырь американского превосходства. Москва.
- Суверенная республика как правовое государство. 1998. Уфа.
- Сурков В.Ю.* 2008. Тексты 97–07. Москва.
- Филиппов А.Ф.* 2008. Ожиревший Левиафан. Читают ли в Кремле Карла Шмитта? // «Русский журнал». № 1.
- Цымбурский В.Л.* 1992. Понятие суверенитета и распад Советского Союза // «Страна и мир». № 1.
- Цымбурский В.Л.* 1993. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // «Полис», № 1.
- Цымбурский В.Л.* 2007. Городская революция и будущее идеологий в России //
- Цымбурский В.Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические работы 1993–2006 годов. Москва.
- Чадаев А.В.* 2005. Революция и контрреволюция // «Со-Общение». № 1.
- Чадаев А.В.* 2006. Путин. Его идеология. Москва.